Как я стал маринистом

Александр Крон

SHOUT
SHARE
IT

- Крон Александр

Крон Александр
Как я стал маринистом

Александр Александрович Крон

Как я стал маринистом

Очерк

Произведения, составившие том, объединены темой войны и флота. Действие романа "Дом и корабль" развертывается в осажденном Ленинграде в блокадную зиму 1941 - 1942 годов.

Очерк "Как я стал маринистом" объясняет, почему военная тема занимает столь значительное место в творчестве писателя.

Предлагаемый очерк - не мемуары и не автореферат. Мемуарами я займусь еще не скоро, рассказывать же читателям о том, откуда я беру сюжеты и "с кого" пишу своих героев, можно лишь будучи твердо уверенным, что читатели отлично знают все написанное мной и горят желанием проникнуть в мою лабораторию. Я не так самонадеян.

Моя задача скромнее - рассказать о событиях и людях, которые в силу различных причин произвели на меня сильное впечатление и оставили глубокий след в моем сознании. Естественно, что все они так или иначе отразились в том, что я писал и пишу. Чтобы как можно меньше отклоняться от фактов, я привлек на помощь свой военный архив. Перебирая старые газеты и фотографии, документы и блокноты, я восстанавливаю в своей памяти события, освобождая их от позднейших напластований.

По моему убеждению, очерк так относится к рассказу или повести, как документальный фильм к игровому. Документальный фильм тоже искусство, поскольку документы можно отбирать и монтировать. Но нельзя инсценировать. Инсценированный кадр выдает себя мгновенно, и фильм сразу теряет значение и как произведение искусства и как документ. Применительно к прозе это правило формулируется следующим образом: очеркист вправе рассказывать о том, что он видел своими глазами, вправе пересказывать с чужих слов, но не должен вводить читателя в заблуждение, - во всех случаях читатель имеет право знать источник, из которого очеркист черпает свои сведения. В отличие от романиста и новеллиста очеркисту несвойственно невидимкой забираться в черепную коробку героя и подслушивать его внутренние монологи; о том, какие мысли проносились в мозгу командира подводной лодки в момент атаки, очеркист вправе поведать миру только со слов самого командира, а становясь на путь домысла, обязан

добавлять словечко "вероятно" или любой из его синонимов.

Во время войны на флоте выше всего ценился очерк, написанный непосредственным свидетелем или участником боевых действий. С интересом читался очерк-интервью. И наименьшее доверие вызывали очерки, в которых было невозможно понять, где же находился очеркист во время описываемых событий и откуда ему известно, как выглядел и что чувствовал каждый из участников.

Я знаю, что со мной многие не согласятся. Есть очеркисты - и очень даровитые, - которые будут настаивать на своем праве дополнять факты вымыслом. Они будут ссылаться на специфические трудности, возникающие при изображении реально существующих и ныне здравствующих людей, будут ссылаться на классиков и поставят меня в затруднительное положение - несомненно, в "Губернских очерках" Щедрина и "Нравах Растеряевой улицы" Глеба Успенского подлинные факты сочетаются с художественным вымыслом. Все это так - жанры не разделены непроницаемыми перегородками и не существуют в химически чистом виде. И все-таки это не мешает мне пытаться определить, хотя бы для себя самого, границы жанра и не мешает мне любить очерк за присущий ему элемент здорового эмпиризма. Подчеркиваю - не ползучего, а именно здорового, того самого кажущегося эмпиризма, что в послевоенные годы выгодно отличал подлинные записки бойцов и партизан от некоторых произведений военной беллетристики.

Передо мной наклеенная на паспарту большая групповая фотография, изображающая молодых людей в летнем обмундировании с винтовками в руках. Снимок уже пожелтел. И не мудрено - дата, 1928 год. Это "рота студентов" 42-го стрелкового полка 14-й Ковровской стрелковой дивизии. Летний территориальный сбор. В центре группы наши командиры - военрук Московского университета А.А.Самойло, комбат Орлеанский, комроты Володин, комвзвода Касьянов, отделенные командиры Бабанов, Модин, Потапов, Саландин...

Остальные - мои товарищи-однокурсники. Философы, этнологи, филологи. Многих уже нет в живых. Во втором ряду - черноглазый юноша, почти мальчик. Это студент литературного отделения Залилов. Могли ли мы знать тогда, что этот малозаметный паренек станет славой советской поэзии под именем Мусы Джалиля? И как знать, не вспоминал ли Муса в Моабитском застенке Ковровский военный лагерь, ибо именно там были заложены основы воинского воспитания многих людей нашего поколения?

Снимок сделан в день расставания с полком, за шестьдесят

дней мы очень сдружились - и между собой и с нашими отделенными. Со своим отделенным командиром Бабановым я впоследствии переписывался. Бабанов был душа человек, весельчак и забавник. Но даже с ним общий язык нашелся не сразу. Во всех нас крепко сидели штатские привычки, и мы не сразу освоили разницу между студенческим общежитием и красноармейским лагерем. Некоторые наши интеллектуалы, попав под начало отделенных командиров, получивших образование в полковой школе, чувствовали себя неуютно, и я помню, как всю роту лихорадило, когда один из студентов - не помню уже кто - вступил в пререкания со своим отделенным командиром Потаповым и отказался выполнить его приказание. Случай был не простой, - Потапов был мужчина грубоватый и к студентам придирался, - и только благодаря редкому педагогическому такту нашего командира роты Володина конфликт удалось разрешить не в ущерб воинской дисциплине, но и без чрезмерной суровости на первых порах.

Через год я написал свою первую пьесу "Винтовка № 492116". В пьесе рассказывалось о том, как воинская часть перевоспитала четырех беспризорников, - я действительно наблюдал нечто подобное. Но проблема борьбы с беспризорностью волновала меня далеко не в первую очередь: главными для меня оказались проблемы воинского воспитания, а центральным конфликтом столкновение между индивидуалистической анархией и организованным коллективом. Недаром 492116 - это номер моей собственной винтовки. И не случайно следующая моя пьеса "Трус" развивает на историческом материале все ту же тему.

26.XI - 35. Москва.

- Прочел Вашу пьесу "Трус" (опыт трагедии).

- Вам удалось по-настоящему проникнуть в ряд черт старой армии, настроения старой России. Это результат - (видимо) - серьезного изучения многих источников. И - "результат" дарования...

- Была пора, когда мне, как и многим другим из старшего поколения, казалось, что молодежь не подхватит линии преемственности. Я лично боялся, что для молодежи, для таких как Вы, - "выпадет" дореволюционная пора, ее люди, ее дела, ее "запахи". А ведь там, в ней, в ее истоках, - суть основного кадра людей современности, людей 35 - 50 - 60 лет. - В частности, - из солдат старой армии основной кадр руководства РККА.

- Ваша пьеса дает простое, ясное объяснение одной из линий преемственности...

Это начало письма. А вот его конец:

- Это грубо, м.б., сталкивать весь 1905 год, всю Российскую

армию и одного драматурга, Крона. - Но дело наше, искусство, драматургия - таковы, что иначе нельзя. Да - вы обязаны один на один выходить против трагизма старого мира и честно, бесстрашно и полно говорить все, что видим и знаем. Вы увидели и узнали больше, чем сказали. В этой утайке я Вас и обвиняю. Художник должен отдать все, до предела. Можете ли жить, писать так?

Нетрудно догадаться, чья подпись стоит под этим письмом. Получил я его так.

Через несколько дней после читки пьесы в Союзе писателей ко мне подошел Всеволод Вишневский - мы были тогда незнакомы - и, не тратя времени на пустой политес, сказал тоном приказа:

- Приходите ко мне завтра. Домой. В восемь часов. Но точно, по-военному...

Раз по-военному - значит, в восемь утра. Ровно в восемь я позвонил в дверь маленькой квартирки на Кисловке. Звонить пришлось долго. Наконец послышалось шарканье домашних туфель и дверь открыл сам Всеволод, заспанный, в розовой пижаме. Он провел меня в кабинет, усадил за стол и положил передо мной несколько листков бумаги, исписанных мелким четким почерком.

- Читайте.

Пока Вишневский мылся и переодевался, я прочел письмо. Письмо было длинное и содержало не только подробный разбор моей пьесы, но и целый ряд соображений о путях советской трагедии, исторических данных и статистических сведений - по-видимому, увлеченный ходом своих мыслей, Всеволод писал его до поздней ночи.

Затем мы завтракали и разговаривали. Провожая меня, Вишневский сказал не терпящим возражений тоном: "Пьесу мы, конечно, напечатаем. Можете считать себя "знаменцем". Но услышав, что я уже дал слово журналу "Театр и драматургия", еле попрощался.

За верность данному слову я был жестоко наказан. Бывшие рапповцы, во власти которых находился тогда журнал "Театр и драматургия", не признали во мне "своего" и, заподозрив в тайных сношениях с Вишневским, не только не напечатали пьесу, но поместили о ней разгромную статью. Вишневский, в свою очередь, долго не прощал мне моего отказа. Сдружились мы только на войне.

А вот записка - рукой моего отца:

"Тебе звонили из секретариата Фриновского. Позвони по №..."

Михаил Петрович Фриновский был короткое время наркомом

Военно-Морского Флота СССР. Позвонив по указанному телефону, я узнал, что приглашен участвовать в собеседовании с военными писателями, которое состоится у наркома в два часа.

В приемной наркома я увидел Вишневского, Соболева, Лавренева, всего человек двадцать, знакомых и незнакомых. Когда нас пригласили в кабинет, могучая фигура и громовой бас Фриновского на несколько минут отвлекли мое внимание от другого моряка, находившегося в кабинете. Но стоило тому заговорить, и я был захвачен. Этот удивительный человек разговаривал не только как моряк, но как ученый и художник, его слушали затаив дыхание, и если главной задачей нашего собеседования было привлечь литераторов к трудному, требующему специальной подготовки флотскому материалу, то она была выполнена блистательно; вскоре после собеседования был создан при Военно-политической академии имени Ленина специальный семинар, где подверглись "оморячиванию" многие московские литераторы, в том числе и я. Лекции, практические занятия и в особенности два месяца, проведенные мною летом 1940 года на кораблях Черноморского флота, оказали мне неоценимую услугу во время войны.

А моряк, умевший говорить о море как художник, на склоне лет стал хорошим писателем. Четверть века спустя я имел удовольствие присутствовать при вручении адмиралу флота Советского Союза Ивану Степановичу Исакову членского билета Союза писателей.

Благодаря школе, пройденной мною в полку под руководством комроты Володина, а затем на черноморском эсминце, которым командовал капитан-лейтенант Мельников, начальник строгий и не делавший никаких скидок проходившим практику курсантам, будь они сто раз писатели, на действующий Балтийский флот я пришел не совсем штафиркой, и это очень облегчило мне мои первые шаги.

Службу я начал в Кронштадте в должности редактора многотиражной газеты соединения подводных лодок. Газета моя называлась "Дозор", выходила через день и поначалу состояла из двух полос малого формата, заполнявшихся самым разнообразным материалом - репортажем о боевых действиях подводных лодок и заметками на бытовые темы, политическими статьями, стихами и фельетонами. Редакция и издательство газеты помещались в одной крошечной каюте на плавбазе "Иртыш", а весь штат состоял из меня и юного краснофлотца, которого звали Коля Кирпичников. Каюта вмещала в себя наборную кассу и плоскую печатную машину, а каждый из нас совмещал много различных профессий и обязанностей. Я был

ответственным редактором, организатором материала и репортером, литправщиком и корректором, автором передовиц, обзорных статей и фельетонов; Коля - наборщиком, метранпажем, печатником, брошюровщиком и экспедитором. Помимо своих прямых обязанностей мы с Колей были "расписаны" по боевой тревоге. Коля входил в состав пулеметного расчета, а я считался политруком зенитной группы. Очень скоро выяснилось, что моя военная подготовка гораздо основательнее газетной - я был "ворошиловским стрелком" и не знал корректорских знаков, имел значок "Готов к ПВХО", но не умел сверстать полосу, - всему этому пришлось учиться на ходу. И не только этому. Понадобились стихотворные лозунги - и я начал рифмовать, а затем, обнаглев, взялся сочинять сатирический раешник. Активность противника возрастала с каждым днем, к "звездным" налетам "юнкерсов" на Кронштадтский рейд и гавань добавились артиллерийские обстрелы, газету приходилось делать в перерывах между боевыми тревогами.

Рядом с нашим "Иртышом" стоял линкор "Марат", его мощная артиллерия вела огонь по наступавшим сухопутным частям противника и, в свою очередь, являлась объектом ожесточенных атак немецких пикирующих бомбардировщиков. После многих попыток, ценой немалых потерь, фашистам удалось вывести "Марат" из строя. В результате взрыва одна из четырех орудийных башен ушла под воду, другая была сильно повреждена, но уже через несколько дней к двум уцелевшим башням подвели электроэнергию с берега, и "Марат" опять заговорил.

В тот памятный день погибло много маратовцев, в том числе редактор линкоровской многотиражной газеты писатель Иоганн Зельцер. Мы знали друг друга понаслышке и познакомились за сутки до его гибели. Зельцер был опытнее меня как журналист, и мы условились, что, если не будет налета, я приду к нему на корабль поучиться уму-разуму. Он не успел стать моим другом. Впоследствии война отнимала у меня людей более близких, но смерть Зельцера произвела на меня неизгладимое впечатление, то ли потому, что она - одна из первых в длинном ряду утрат, то ли своей будничной наглядностью: был и нет.

Прошло еще несколько месяцев, прежде чем я пришел к простой истине когда идет война, смерть товарища больно отзывается в сердце, но не дает права ни остановиться, ни свернуть с намеченного пути. В романе я описал, как подводники празднуют корабельную годовщину через несколько часов после гибели одного из самых любимых командиров. Вероятно, кому-нибудь это покажется неправильным, а следовательно, неправдоподобным. Но так было. И даже - не могло быть иначе.

Траур носят только в тылу.

А между тем стали возвращаться уходившие в боевой поход лодки. Каждый боевой успех воспринимался как событие, победителей встречали на пирсе с традиционным подношением - поросятами, вечером устраивалось чествование. В промежутке между встречей и банкетом я добывал необходимый мне для очередного номера материал, а это было совсем не просто: смертельно усталые подводники, ступив на твердую землю, меньше всего хотели рассказывать о виденном и пережитом, они хотели мыться в бане, хотели слушать любимые пластинки, хотели смеяться и говорить о пустяках.

Помню (это уже в 1942 году), каким уморительно-забавным и в то же время до слез трогательным выглядел в день своего возвращения из похода ныне прославленный, а тогда еще безвестный Евгений Яковлевич Осипов. Поход оказался на редкость удачным, Осипова авансом поздравляли со званием Героя, и он был наверху блаженства - не столько от успеха и всеобщего признания, сколько от чисто физического ощущения твердой земли под ногами. От ста граммов невиннейшего кагора он вдруг опьянел совершенно, по дощатым полам береговой базы его носило, как по палубе штормующего корабля. Я-то знал, что в этом состоянии Женя Осипов мало приспособлен для интервьюирования, но меня умолила пойти вместе с ней одна настойчивая женщина с мандатом корреспондента центральной газеты. Я пошел и не пожалел о затраченном времени. Осипов встретил нас с покоряющей любезностью, говорил моей спутнице комплименты на четырех языках, пел, хохотал, высказывался на самые неожиданные темы и с изумительной, наполовину бессознательной ловкостью уклонялся от вопросов. Лишь когда моя спутница задавала какой-нибудь уж очень безграмотный, с точки зрения моряка, вопрос, он вдруг на мгновение трезвел, дергал себя за ухо, и, убедившись, что не ослышался, горестно охватывал свою голову обеими руками, и произносил только одно слово "матушка!", вкладывая в него массу оттенков - и удивление, и нежный укор, и мольбу о пощаде, а затем вновь погружался в свой блаженный бред. На следующий день нам удалось все-таки потолковать с Осиповым. Он еще неохотно возвращался мыслями к походу, но был точен, деловит, скромен, не наигранно скромен, как герои стандартных очерков, а так, как бывают скромны люди, уверенные в своих силах.

В моей пьесе "Офицер флота" появляется на несколько минут эпизодическая фигура молодого подводника, только что вернувшегося с позиции. Роль оказалась выигрышной, и в ней выступали многие видные актеры. Забавно, что в Художественном

театре ни режиссеры, ни исполнители так и не поверили, что человек может быть пьян не столько от вина, сколько от счастья, свежего воздуха и ощущения твердой земли под ногами. И несмотря на все мои протесты, "сто грамм кагора" были заменены коньяком, а доза увеличена. Как видно, всякое перевоплощение в образ имеет свои границы.

Трудно объяснить, почему одни люди запоминаются больше, а другие меньше, почему события более яркие зачастую стираются в памяти, а какой-то на первый взгляд малозначительный факт заставляет надолго задуматься и запечатлевается на долгие годы. Я теперь уже с трудом вспоминаю Иванцова и Кульбакина, первых вернувшихся с победой командиров лодок. А погибший в самом начале кампании Ныров и сейчас стоит перед глазами как живой. Небольшого роста, худощавый, с рыжеватыми усиками на землистом лице, он поразил меня изящной свободой поведения, медленной улыбкой, которая вспыхивала не сразу, а как бы включалась через реостат, негромкой и неторопливой речью много и настойчиво размышляющего человека. Как-то мы разговорились, и я впервые столкнулся с множеством проблем, о которых до той поры не задумывался и по отсутствию времени, и по крайнему своему невежеству в вопросах подводной войны. Ныров погиб при выполнении опасного разведывательного задания, но во мне живет непоколебимое убеждение, что в этом человеке таились незаурядные возможности. Смелость мысли - качество более редкое, чем обыкновенная храбрость. Впрочем, не такая уж редкость среди моряков было много смело, оригинально думающих людей. Но для того чтобы стать их собеседником, недостаточно войти в круг их интересов, надо было еще завоевать доверие. Это пришло не сразу.

В октябре 1941 года значительная часть кораблей Балтийского флота, в том числе почти все подводные лодки со своими плавбазами, была дислоцирована в Ленинграде и стояла на приколе у невских набережных. В ноябре пришла из боевого похода последняя подводная лодка. Кампания закончилась, и на смену бурному темпу, в котором мы прожили летние месяцы, пришли не менее напряженные, но замедленные по своим ритмам дни блокадной зимы. Прежде чем стала Нева, было уже ясно, что в будущей кампании наибольшие шансы у подводных лодок и катеров, роль крупных надводных кораблей временно ограничивалась батарейной борьбой. Столь же ясно было, что ленинградские судостроительные заводы лишь в незначительной степени могут быть использованы для зимнего ремонта кораблей.

О ленинградской блокаде написано много книг,

опубликовано много подлинных документов, и в мою задачу не входит рассказывать о жизни населения осажденного города. Скажу только, что военные моряки не были "сеттльментом". Конечно, они меньше страдали от холода, и нормы питания у них были выше, чем у рабочих и служащих. И все-таки к весне у меня и у многих моих товарищей по флоту наблюдались признаки самой настоящей дистрофии: отечность, кровотечение из десен и несворачиваемость крови (царапины не заживали по неделям), сухость и шелушение кожи, высыхание серозной жидкости в коленных суставах, что очень затрудняло ходьбу, я не говорю уже о странных капризах памяти и голодных галлюцинациях. Находясь в несколько лучших условиях, моряки Балтики вынесли на своих плечах всю тяжесть ремонта и находили еще силы помогать гражданскому населению. Делились всем: топливом, электроэнергией, водой, лекарствами, а иногда и попросту - хлебом. Все это не ново. Но вот о чем, по-моему, до сих пор мало рассказано: блокадная зима 1941/42 года, несмотря на всю тяжесть борьбы за существование, несмотря на бомбежку и артиллерийский обстрел, была периодом высокого интеллектуального накала, равного которому я, пожалуй, не помню. Нигде, на моей памяти, люди так много и откровенно не разговаривали, никогда так страстно не спорили, как в долгие блокадные вечера у камельков и времянок, при свете коптилок и тусклых лампочек. Читали в то время необыкновенно много, жадно ловили каждое слово по радио. Интерес к искусству, музыке, философии я видел всюду, куда мог добраться, - на плавбазах, кораблях, фортах, оборонительных участках, в госпиталях и темных, промерзших, похожих на норы ленинградских квартирах. Но, пожалуй, самым поразительным из того, что я помню о том времени, была могучая тяга людей к творчеству. Люди, никогда не срифмовавшие двух строк, писали стихи - и не всегда плохие, участники боев рисовали по памяти батальные картины, умиравшие от дистрофии люди до последнего дня вели записи, "чтоб наши дети знали и помнили". В блокадном Ленинграде родилась всемирно известная 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, в блокаде расцвело яркое дарование Ольги Берггольц, поэтессы, о которой до войны слышали немногие.

Читали все, что попадалось под руку, - газеты и брошюры, классиков и книги советских авторов. Я не располагаю статистикой, но убежден, что на первом месте среди книг была толстовская эпопея. Тысячи бойцов прочитали "Войну и мир" впервые, еще большее число людей прочло роман как бы заново. На одной из подводных лодок вся команда перечитала полное

собрание сочинений Достоевского, военком лодки говорил мне полушутя, что побаивается "фитиля" от начальства, - еще скажут, что комиссар не руководит чтением и разводит на лодке всякую размагничивающую достоевщину. Но, как видно, размагничивающее или мобилизующее влияние книги зависит не только от семян, но и от почвы. Начитавшись Достоевского, краснофлотцы еще горячее полюбили свой город и прониклись еще более непримиримой ненавистью к фашизму.

Глаз литератора в некоторых отношениях подобен фотообъективу. Объективы бывают различных типов - короткофокусные и длиннофокусные, широкоугольные и портретные, для работы при искусственном освещении и для аэрофотосъемок. Вероятно, мой объектив плохо приспособлен для фиксирования быстро движущихся предметов и лучше рисует с близкого расстояния. Зимняя пауза оказалась для меня самым питательным периодом, из репортера я превратился в собеседника. Каждый вечер в кают-компаниях плавбаз и кораблей, в каютах командиров и в матросских кубриках шел взволнованный разговор обо всем на свете - о судьбах страны и об уроках летней кампании, о традициях русского флота и о ремонте навигационных приборов, - разговор, становившийся для меня все более внятным и кровно необходимым. За эти осенние и зимние месяцы я выслушал не одну исповедь, заглянул во многие дневники и записи, узнал десятки всяких историй - трагических и забавных, фантастических и обыденных; мне открылся целый, доселе неведомый мир, подводное царство со своими неписаными законами и преданиями, сложившимися репутациями и своеобразными отношениями. Конечно, я не мог, да и не стремился, обойти все плавбазы и познакомиться с экипажами всех подлодок соединения. Были лодки, где у меня было много друзей и знакомых, были и такие, где я никого не знал. Больше всего меня тянуло на лодки, где ощущался сплоченный и дружный коллектив. Зависело это, в первую очередь, от командира и военкома, поэтому в разговорах между собой подводники редко называли лодки, а говорили: "Грищенко ходил на минные постановки! или "У Кабо идут ремонтные работы".

Лучше других я знал лодки среднего тоннажа "Л-3", "С-7", "Лембит", "Щ-309", "Щ-320", "Б-2", а из малюток "М-96".

Об "Л-3" и ее командире Петре Денисовиче Грищенко написано уже не мало. Недавно опубликован походный дневник Александра Зонина. Покойный Александр Ильич был единственным писателем, участвовавшим в дальнем рейде подводного корабля, его записки содержат ценнейший материал, характеризующий П.Д.Грищенко как боевого командира. Я имел

возможность наблюдать другую подчиненную, но столь же важную - сторону деятельности Петра Денисовича, его ежедневную, неустанную, кропотливую работу организатора и воспитателя коллектива. На любом военном корабле, а на подводной лодке в особенности, сплоченность и взаимопонимание внутри экипажа - это вопрос жизни и смерти. Поэт Алексей Лебедев за несколько дней до выхода в море с горечью говорил мне о том, что у них на "Л-2" нет настоящей дружбы, нет инициативы снизу, все смотрят в рот командиру - и как знать, не было ли все это одной из причин гибели лодки? На "Л-3" Петру Денисовичу удалось создать удивительную атмосферу спокойной деловитости. Приходя на лодку, я всегда ощущал: у этой команды есть свой стиль. Никто не гаркает, не суетится, все делается по видимости неторопливо, но вовремя и при этом с улыбкой, с шуточкой, без лишних слов и толчеи. Несомненно, чтоб вылепить коллектив "по своему образу и подобию", командир приложил не мало усилий, но прежде он должен был вылепить самого себя, и я догадываюсь, какой титанический труд потребовался для того, чтобы выросший в бедняцкой семье, поздно начавший учиться крестьянский паренек превратился в того образованного, внутренне собранного и безукоризненно элегантного морского офицера, каким я его знал во время войны, а впоследствии - в научного работника и выдающегося военного педагога. У Грищенко не было замашек "лихого командира", столь импонирующих молодым морякам, зато от него исходило ощущение глубокой надежности, такие люди не поддаются панике.

Под стать командиру были его ближайшие соратники - старпом Владимир Константинович Коновалов, впоследствии сменивший Петра Денисовича на посту командира "Л-3", инженер-механики Михаил Филиппович Вайнштейн и Михаил Андроникович Крастелев. Всех этих людей роднила одна воспитанная в ходе боевой подготовки и закрепленная в походах черта, которую я бы назвал контактностью. Под этим словом я разумею способность не в ущерб своей индивидуальности ощущать себя частью единого целого. Грищенко и Коновалов, Вайнштейн и Крастелев и внешне и внутренне были разительно несхожи между собой и, может быть, именно поэтому отлично друг друга дополняли. Вальяжный, медлительный, улыбчивый Вайнштейн в случае необходимости приобретал стремительность. Во время первого похода "Л-3" лодка неожиданно "провалилась" ниже проектной глубины. Корабль с сильным дифферентом на нос уходил навстречу своей гибели. Вайнштейн мгновенно разобрался в обстановке и, убедившись, что горизонтальные рули

бездействуют, скомандовал продуть носовую часть и этим остановил падение лодки. Нетерпеливый, резкий, спорщик и задира Крастелев, когда требовали обстоятельства, проявлял редкую выдержку и терпение. В том же походе у подводной лодки "Л-3" вышло из строя рулевое управление. Авария произошла вблизи от берега, занятого частями противника, всплывать было опасно, еще большая опасность грозила смельчакам, которым предстояло спуститься в кормовую балластную цистерну, чтоб получить доступ к поврежденному шарпиру. Крастелев и старшина 2-й статьи Мочалин спустились в цистерну и обнаружили повреждение. Пока шла работа, вся артиллерия корабля была "на товсь", минута промедления могла стоить жизни, но Крастелев не нервничал и не торопил Мочалина. Он знал, что, как ни опасно промедление, спешка еще опаснее, и не вышел из цистерны, пока не убедился, что повреждение надежно исправлено.

Таких знатоков своего дела, как Вайнштейн, Крастелев и Мочалин, на "Л-3" было много, на страницах "Дозора" то и дело мелькали фамилии старшины группы мотористов Шапировского, краснофлотцев Вальцева, Елюшкина, Воробьева, Машинистова... В настоящее время М.Ф.Вайнштейн работает в конструкторском бюро, разрабатывающем новые типы компрессорных установок. Инженер-вицеадмирал М.А.Крастелев и капитан 1-го ранга П.Д.Грищенко воспитывают молодых подводников, Герой Советского Союза капитан 1-го ранга В.К.Коновалов* служит на Северном флоте.

_____

* В.К.Коновалов скончался в 1967 году в звании контр-адмирала.

Недавно я получил письмо от одного из ветеранов "Л-3", - готовится очередная встреча участников боевых походов этого прославленного корабля. Старая дружба не ржавеет.

Собираются до сих пор и "лембитовцы". Подводная лодка "Лембит", подобно "Л-3", прославилась не только торпедными атаками, но и успешными минными постановками. Командовал ею вначале Владимир Антонович Полещук, а затем Алексей Михайлович Матиясевич - и тот и другой в прошлом капитаны дальнего плавания, люди бывалые, повидавшие свет. Полещук вскоре был назначен командиром дивизиона, и я чаще встречался с Матиясевичем, он оказался моим соседом по каюте на плавбазе "Иртыш", и по вечерам мы часто разговаривали. Алексей Михайлович - человек другого склада, чем Грищенко, но много было у них и общего: внешняя подтянутость и физическая тренированность, умение сплачивать людей и, наконец, самое

главное - активная, ищущая, самостоятельная мысль. К этому же типу командиров принадлежали командир "С-7" Сергей Прокофьевич Лисин, командир "Щ-309" Исаак Соломонович Кабо и ныне покойный командир "Щ-320" Иван Макарович Вишневский. Всем этим людям я обязан своими первыми шагами на флоте, они помогли мне проникнуть в круг интересов и мыслей подводников, без этого я не сумел бы написать о них ни строчки. Добавлю: они смогли мне помочь не только потому, что были первоклассными мастерами своего дела, но и потому, что сами любили литературу и искусство. Кабо был очень музыкален и отлично играл на скрипке; Лисин, насколько мне помнится, ни на чем не играл, но музыку любил, я сидел с ним рядом во время первого исполнения 7-й симфонии Шостаковича в блокированном Ленинграде, из филармонии мы шли вместе и говорили о музыке. Лисин - блестящий оратор, Грищенко, Матиясевич и Кабо владеют пером, только Иван Макарович не проявлял артистизма ни в какой области, да и по виду отличался от своих более блестящих коллег - внешность имел малозаметную и с малознакомыми людьми неразговорчив. Разобраться в этом незаурядном человеке мне помог мой новый друг Василий Антипин. Василием Степановичем на моей памяти его никто не звал, и ему очень шло имя Вася - такой уютный, миловидный, вежливый курсант, сияющий надраенными пуговицами и несколько наивной ласковой улыбкой. Однако он был уже не курсант, а старший, политрук, инструктор политотдела бригады и тяготился своим завидным положением - он хотел плавать. Вершиной его мечтаний было пойти в боевой поход с Иваном Макаровичем, которого он ставил необычайно высоко, но мечта эта так и не осуществилась; Вишневский тоже ценил Васю, но у него не было никаких оснований отказываться от своего комиссара Калашникова - человека скромного и храброго, пришедшего на флот "с гражданки" и быстро завоевавшего уважение моряков. Через Антипина я ближе подошел к Ивану Макаровичу и вскоре убедился, что Вася не зря восхищался этим человеком: я редко встречал людей, у которых душа была до такой степени не подвержена никакой коррозии - ни тщеславию, ни корысти, ни зависти. У этого бывшего матроса был ясный ум и огромный жизненный опыт, что в соединении с нравственной чистотой и рождает то, что мы называем мудростью. Его оценки людей и событий были всегда осторожны, не от робости, а от уважительности, он уважал людей, уважал чужой труд, уважал чужое мнение, ему можно было довериться во всем.

Каюсь, у меня не хватило проницательности, чтобы сразу оценить такую самобытно-яркую натуру, как Александр Иванович

Маринеско. В ту пору он был командиром "малютки" и решительно ничем не знаменит. К "малюточникам" поначалу относились не очень внимательно - и напрасно: на счету малых лодок к концу войны накопилось немало побед. Я пришел на лодку к Маринеско поздней осенью и увидел затрапезного вида хмурого парнишку, чем-то напомнившего мне катаевского Гаврика из повести "Белеет парус одинокий". Как раз в этом я не особенно ошибся - Маринеско был родом из Одессы и, хотя принадлежал к более позднему поколению, чем Гаврик, несомненно, состоял с ним в духовном родстве. У Маринеско сидел его приятель Гладилин - тоже командир "малютки". Они пили спирт и к моему приходу отнеслись настороженно. Почувствовав это, я тоже повел себя как-то не совсем естественно, в результате контакта не получилось, и, хотя я потом не раз бывал на "М-96", наши отношения с командиром оставались официальными.

Сблизились и подружились мы гораздо позже, встретившись после войны в Кронштадте на втором сборе ветеранов-подводников Балтики. К тому времени Маринеско уже демобилизовался и работал на одном из ленинградских заводов. Я знал, что на первом таком сборе сообщались данные о потерях гитлеровского флота во второй мировой войне. По этим данным, первым подводным асом Балтики без всякого спору оказывался бывший командир "М-96" и "С-13" Александр Иванович Маринеско, поэтому не удивился овациям, которыми его встретили. Удивило меня другое - имя Маринеско никогда не упоминалось в печати, и даже в экспозиции Центрального военно-морского музея не было портрета человека, нанесшего вражескому флоту такие тяжкие и непоправимые потери, что Гитлер объявил его в числе "главных военных преступников". Почему же, вместо того, чтобы гордиться подвигами Маринеско, мы о них умалчиваем? Ответ на этот вопрос я получил не сразу, а после настойчивых расспросов и лишь через несколько месяцев после сбора, вновь встретившись с Александром Ивановичем в Кронштадте, узнал всю правду до конца. Мы провели два дня, почти не расставаясь, и за эти дни Александр Иванович рассказал мне историю своей жизни - яркой и горестной, героической и нелепой, в ней были взлеты и падения, но не было сонного прозябания. Если бы этот продолжавшийся много часов рассказ-исповедь можно было бы записать на магнитофонную ленту, то, вырезав из нее мои реплики и некоторые неизбежные отступления от темы, мы получили бы автобиографическую повесть, которая по насыщенности событиями и накалу страстей не уступит жизнеописанию Бенвенуто Челлини.

Сын беглого матроса румынского военного флота и украинской крестьянки, выросший на окраине Одессы, становится штурманом дальнею плавания, затем увлекается подводными лодками и меняет профессию. К началу войны он уже командир "малютки", отлично воюет, получает перевод на "эску", затем неожиданно в новогоднюю ночь 1945 года, стоя в гавани Турку, загуливает и пропадает на двое суток. Исчезновение советского офицера в иностранном порту - происшествие чрезвычайное. Когда Маринеско возвращается на плавбазу, над его головой начинают сверкать молнии. Александр Иванович признавал свою вину, но от подозрений приходил в бешенство, чем немало себе навредил. Ему грозил суд и уж по меньшей мере отстранение от командования. Спасли Маринеско единодушная поддержка всего экипажа "С-13", горой вставшего за любимого командира, и здравый смысл, проявленный командованием, которое решило потихоньку сплавить Маринеско в море. Маринеско ушел тихо, но в море повел себя шумно - через несколько дней фашистский флот погрузился в траур: неизвестная подводная лодка отправила на дно Балтики шедший под охраной боевых кораблей гигантский океанский лайнер "Вильгельм Густлов", на борту которого эвакуировалось из Данцига в Киль восемь тысяч отборных мерзавцев элита СС и СД. В том же походе Маринеско потопил вспомогательный крейсер "Штойбен". Казалось, у него были все основания вернуться триумфатором, но инерция вновь взяла верх над здравым смыслом, герою втихую выдали "за все про все" орден Красного Знамени, а самый подвиг замолчали. После окончания войны Маринеско продолжает служить на флоте. Однако предубеждение к нему не рассеивается, а характер не меняется, и в опале он остается прежним Сашей Маринеско, независимым, мальчишески порывистым, до грубости правдивым. Ссора с комдивом, и снова ЧП - снижение в звании, перевод с подводной лодки на тральщик. Маринеско вспыхивает и подает рапорт о демобилизации. В перспективе возвращение на торговый флот, но подводят глаза: при проверке зрение оказывается на одну десятую диоптрии ниже нормы. Никакого практического значения это иметь не могло и не мешало Маринеско командовать военным кораблем, но формальные, а может быть, и не только формальные соображения опять взяли верх, и природному моряку пришлось во цвете лет перебираться на берег и осваивать новую специальность - хозяйственника и снабженца.

Работать он начал в учреждении, где орудовала небольшая, но сплоченная группа мошенников во главе с директором. Маринеско со свойственным ему пылом попытался разоблачить хозяйственные махинации директора - и сам оказался под судом.

Преступление Маринеско состояло в следующем: в учреждении, где он работал, лежало мертвым грузом несколько тонн торфяных брикетов. Вместо того чтоб вывезти их на свалку, Александр Иванович, заручившись устным согласием директора, развез эти брикеты по домам наиболее низкооплачиваемых технических сотрудников в виде предпраздничного подарка. А затем все было разыграно как по нотам: кто-то написал в ОБХСС, директор быстренько отрекся от данного им разрешения, и Маринеско оказался расхитителем социалистической собственности. Его исключили из партии, в последнюю инстанцию Маринеско, чтобы не отдавать партбилет, не явился.

Затем был суд. Прокурор-фронтовик, видя, что дело липовое, отказался от обвинения, оба народных заседателя заявили особое мнение, но оставшийся в меньшинстве судья все-таки добился, чтобы подсудимого взяли под стражу. Дело рассматривалось в другом составе, и Маринеско получил три года. Людей, осужденных на такие сравнительно небольшие сроки, обычно не посылают в далекие лагеря, но для Маринеско было сделано исключение - он был направлен на Колыму. В арестантском эшелоне Александр Иванович столкнулся с самыми разнообразными людьми - вместе с ним ехали воры-рецидивисты и "бытовики"; богатырского сложения матрос, во время выгрузки консервов с судна вскрывший одну банку и получивший за это пять лет лагеря, и петергофский обыватель, служивший в гитлеровской зондеркоманде, своими руками повесивший и расстрелявший десятки советских мирных граждан. Такой вот петергофский каратель был назначен старостой вагона и ведал раздачей пищи. Опираясь на таких же, как он, бывших карателей и уголовников, он установил порядок, по которому "свои" получали по две миски тюремной баланды, а прочие по одной, притом неполной. Маринеско был возмущен, к тому же он понимал, что при таком рационе не мудрено протянуть ноги, так и не увидев Тихого океана...

Он тайно организует бывших моряков - их в вагоне оказалось восемь человек - и во время очередной раздачи поднимает бунт. Избитый до полусмерти староста сразу теряет свой ореол, шпана трусливо отступается от своего бывшего вождя, и вакантное место занимает ставленник Маринеско - тот самый богатырь матрос, что пострадал за банку консервов. Поездная охрана, испугавшись бунта, поначалу грозила применить оружие, но, убедившись, что бунт не имеет целью своей побег, легко смирилась со "сменой властей", и вплоть до прибытия в порт Ванино моряки держали подонков в страхе. В Ванино восьмерка не распалась, она стала ядром большой погрузочной бригады, состоявшей в основном из

бывших моряков. Под руководством Маринеско, который, как опытный капитан, умел распределять грузы по трюмам, бригада достигла небывалых успехов, авторитет рос с каждым днем...

В Ленинград Александр Иванович прилетел самолетом с деньгами в кармане. Первым делом он извлек из тайника запрятанный партийный билет, и когда мы с ним встретились, он был уже восстановлен в партии и работал на одном из ленинградских заводов. Но замалчивание подвигов Маринеско продолжалось по-прежнему, и даже на заводе лишь немногие знали, что рядом с ними работает один из самых замечательных героев Великой Отечественной войны, подводный ас, имя которого со страхом и почтением упоминается в военных мемуарах бывших гитлеровцев.

Александр Иванович умер от рака, едва дожив до пятидесяти лет. Лишь за несколько месяцев до смерти Маринеско мгла над его именем начала рассеиваться. Он так и не вкусил заслуженной славы, но его беззлобная душа жаждала не славы, а справедливости, и надежда на то, что справедливость будет наконец восстановлена, не оставляла его до последних минут.

Маринеско был человеком редкой скромности и до наивности правдивым, я сразу поверил его исповеди, да он и не сумел бы ее выдумать. Характер у него, что и говорить, был не из легких - азартный, импульсивный, трудно мирившийся с преградами. Среди подводников не редкость встретить подлинную отвагу, но у Маринеско помимо военной отваги было еще одно прекрасное и беспокойное качество, которое другой Александр Иванович - Куприн - очень хорошо назвал "душевной небоязнью". Маринеско был решительно неспособен кого-нибудь или чего-нибудь бояться. Это сквозило даже в его взгляде и порядком раздражало некоторых начальников, живущих по формуле "раз не боится - значит, не уважает". Я убежден, что придет время, когда Маринеско будет воздано должное и рано или поздно найдется применение тем торопливым записям, которые я сделал по памяти сразу же после нашей кронштадтской встречи. В частности, мне удалось довольно точно записать рассказ Александра Ивановича об его новогоднем загуле в Турку - это почти законченная трагикомическая новелла, быть может несколько рискованная на сугубо ведомственный взгляд, но зато необычайно наглядно свидетельствующая о том, что крупный человеческий характер и в своих срывах остается крупным, а мелкие люди мелочны даже в своем понимании добродетели.

Теперь я много раздумываю о Маринеско и людях его склада, но тогда, повторяю, я не сумел в нем разобраться. Причину этого я вижу не только в моей тогдашней неопытности, но и в

избирательности сознания - в ту пору мое воображение занимали командиры другого типа.

Особое место среди балтийских подводных лодок занимала "Б-2", более известная под именем "Пантера". "Пантера", построенная еще до первой мировой войны известным русским кораблестроителем Джевецким, была старейшей лодкой на бригаде, и, несмотря на то, что за свою долгую жизнь она не раз подвергалась модернизации, справедливо считалась устаревшей. В летнюю кампанию 1941 года "Пантеру", несмотря на настойчивую инициативу, проявленную ее командиром Израилем Адольфовичем Быховским и всем экипажем корабля, на позицию не выпустили. Пантеровцы переживали это драматически, они образцово провели зимний ремонт механизмов, отлично стреляли по фашистским самолетам и изощрялись во всякого рода проектах, долженствовавших вернуть "Пантере" положение боевого корабля первой линии и воспрепятствовать ее разоружению. На "Пантере", больше чем на какой-нибудь другой лодке, был силен дух традиции, пантеровцы гордились историческим прошлым своего корабля, свято соблюдали корабельные даты, хранили память о "старичках" корабля, среди которых были такие выдающиеся люди, как бывший штурман, а ныне ученый с мировым именем академик Аксель Иванович Берг. Все это мне очень нравилось, и, когда лодка стояла на приколе у б.Сампсониевского моста (команда жила на берегу), я часто бывал на "Пантере". Хорошо знали "Пантеру" и другие балтийские литераторы, в частности Всеволод Вишневский и Всеволод Азаров, и когда, годом позже, мы втроем писали текст героической музыкальной комедии "Раскинулось море широко", то, изображая маленький, но дружный коллектив связного катера "СК-13", томящийся в чаянии "настоящего дела", мы не могли не вспомнить "Пантеру".

В ноябре 1941 года при Политуправлении флота была создана "оперативная группа писателей", объединившая значительную часть служивших ранее в различных соединениях и частях балтийских литераторов. Инициатором создания опергруппы был Всеволод Вишневский, он же был ее бессменным руководителем вплоть до осени 1943 года, когда изменившийся характер войны потребовал вновь рассредоточить литераторские силы. Расставаться с подводниками было грустно, но переход в опергруппу открывал заманчивые возможности. Во-первых, расширить свои представления о воюющем флоте, побывать на переднем крае обороны, а летом выйти с малыми кораблями в Финский залив и дальше в Балтику. И во-вторых, дать выход накопившимся впечатлениям.

В обязанности опергруппы входило поставлять литературный материал для пресс-бюро Пубалта, газеты "Красный Балтийский флот" и флотских радиопередач. Материалы эти по размеру не должны были превышать четверти печатного листа; так появились на свет мои "Рассказы о подводниках" маленькие новеллы, построенные на наблюденных мною или рассказанных мне действительных событиях; степень художественного обобщения была в них очень невысока, образы мало чем отличались от своих прообразов и именно поэтому оказывались тусклее их, в общем, это были вполне ученические опусы. Тем не менее они печатались и передавались в эфир, некоторые из них увез с собой в Москву заглянувший ко мне на "Иртыш" А.А.Фадеев. Вскоре я получил от него толстый пакет со свежими номерами центральных газет, в которых были напечатаны три моих рассказа. В сопроводительном письме, серьезном и шутливом, Фадеев писал, что счел полезным для дела и для меня опубликовать рассказы в центральной печати, но тут же недвусмысленно давал мне понять, сколь далеки мои рассказы от настоящей художественной прозы. Веселое и умное это письмо, к сожалению, погибло при прямом попадании бомбы в здание Военно-морской академии, где в то время помещались Пубалт и наша группа. Относительно лучшим рассказом Фадеев считал "Трассирующие звезды", напечатанный по его рекомендации в "Литературе и искусстве", вероятно, он был прав, но в моей литературной судьбе гораздо большую роль сыграл другой, более слабый рассказ "Я держу мой флаг". В этой беглой зарисовке, недалеко ушедшей от обычной газетной корреспонденции, шла речь о некой вмерзшей в лед подводной лодке и об упрямом капитан-лейтенанте, не желающем отступать перед трудностями ремонта в осажденном Ленинграде. Рассказ был тем семечком, из которого проросли осуществленный двумя годами позднее замысел драмы "Офицер флота" и впоследствии, спустя много лет, - роман "Дом и корабль".

Первым заданием, полученным мною за время пребывания в опергруппе, была командировка на эскадренный миноносец "Сильный". В летнюю кампанию "Сильный" участвовал в морском сражении в Ирбенском проливе, а теперь стоял в устье Невы и вел артиллерийскую дуэль о береговыми батареями противника. Одновременно шел ремонт всех механизмов. "Сильный" был тем самым "Н-ским кораблем", обратившимся через флотскую печать с призывом ко всем кораблям Балтийского флота провести зимний ремонт своими силами и средствами. В кают-компании "Сильного" я опять встретился с той же атмосферой активной, ищущей мысли, что у подводников: чувствовалась настоятельная

потребность критически осмыслить для себя первое полугодие войны и сделать необходимые для победы организационные и нравственные выводы. Говорили и спорили на всякие темы, но за всем этим многообразием мне все время слышалась главная тема, тема номер один. Это была проблема становления нового советского офицерства.

Необходимость реформ в этой области ощущалась в низах не менее остро, чем наверху, и не вина будущих офицеров флота, что проведена была эта реформа чисто административным путем, с преобладанием внешней стороны, тоже существенной, но не исчерпывающей всего круга вопросов, волновавших и в какой-то степени продолжающих волновать и сегодня людей, сделавших службу в армии и на флоте своим жизненным призванием.

Летняя кампания 1942 года показала, что лучше всех воевали те командиры, которые много думали зимой. Проведенный своими силами ремонт кораблей не только помог разрешить почти неразрешимую в блокадных условиях задачу подготовки боевой техники к новым походам, но и лучше овладеть этой техникой. Выдающиеся подвиги, совершенные балтийскими подводниками во вторую летнюю кампанию, были подготовлены еще на берегу. Люди уходили в поход не только более опытными, но и более интеллектуально зрелыми, более нравственно устойчивыми, чем были в прошлом году.

Написанная зимой 1943 года драма "Офицер флота" была весьма неполным и несовершенным отражением настроений, которые были действительно характерны для флотского офицерства. Поставленная флотскими театрами задолго до окончания войны, она вызвала много споров и откликов. Работа над пьесой проходила в условиях, которые в мирное время показались бы мне немыслимыми: тогдашний начальник Пубалта Волков отвалил мне на написание четырехактной пьесы ровным счетом один месяц и был крайне недоволен, когда я попросил два. Чтоб меня не отвлекали посторонними делами, я с разрешения начальства поселился в промерзшей "Астории", в маленьком номеришке, выходящем окнами в закоулок двора - преимущество немалое, учитывая артобстрелы и бомбардировку с воздуха. Раз в сутки я шел с судками на береговую базу Подплава и забирал свой суточный рацион. Однажды, когда я возвращался обратно, меня основательно тряхнуло взрывной волной, и я на короткое время потерял сознание. Помню только, что, опускаясь на тротуар, я больше всего думал о том, чтобы не разлить макаронный суп, составлявший основу моего обеда, и, очнувшись, первым делом убедился в том, что судки не потекли. Температура в номере падала ниже нуля, чернила замерзали в чернильнице, а

авторучки у меня не было. Электричество часто гасло, и тогда приходилось зажигать коптилку. Но все равно писать в "Астории" было лучше, чем в Управлении или даже на корабле. Сознание, что я плачу за номер восемнадцать ничего не стоящих рублей в сутки, возвращало мне ощущение независимости, без которого, как мне кажется, нельзя писать пьесу даже на военную тему. Это же ощущение помогло мне выдержать шквальный огонь начальственной критики во время читки тогдашнему руководству Пубалта и отказаться от переделок. Только вмешательство начальника Главного Политуправления И.В.Рогова спасло пьесу. У покойного Ивана Васильевича был нелегкий характер, но перестраховщиком он не был.

После прорыва блокады характер военных действий на Балтике и на Ленинградском фронте решительно изменился. Из оборонительных они стали наступательными. В соответствии с этим изменилась и практика флотских литераторов - они превратились в военных корреспондентов. На время распались прочные связи. В течение летней кампании 1944 года я побывал во многих соединениях, ходил в море с тральщиками, морскими охотниками и бронекатерами. Затем речная флотилия на Одере, Берлин и после короткого отдыха - Тихий океан, освобождение Сейсина, десант на Гензан. Несомненно, по силе и непосредственности впечатлений второй период был богаче первого, богаче хотя бы потому, что я получил возможность следить за ходом боевых операций и наблюдать людей в действии. Эти впечатления легли в основу ряда очерков и комедии "Второе дыхание".

"Второе дыхание" далеко не исчерпало накопившихся у меня за последние два года войны впечатлений, записей и заготовок. Наступила очередь прозы, вот почему мне не хочется рассказывать о людях и событиях этого периода. Пока не закончен синтез, не следует заниматься анализом.

Скоро исполнится двадцать лет с тех пор, как я демобилизовался из флота. Но живая связь с флотом, с Балтикой, с подводниками не прервалась. Остались друзья. Осталась великолепная традиция встреч ветеранов, которой мы обязаны энтузиасту и ревнителю воинской славы балтийских подводников бывшему комдиву "малюток" Евгению Гавриловичу Юнакову. Без дружеской поддержки моряков, всегда готовых прийти мне на помощь, я не мог бы писать о флоте.

Я был профессиональным драматургом и не был кадровым моряком. Говорят, что тот, кто вдохнул запах кулис, отравлен на всю жизнь. За последние годы я разлюбил театр. А запах корабля волнует меня по-прежнему, как двадцать лет назад.

1965